

-М

оя первая жена — хорошая была женщина, — Олег Петрович потянулся и зевнул, — но вот слишком уж... — Он защелкал пальцами, подбирая слово. — Энергичная!

Собеседник его, пожилой мужчина в теплом пальто, вопросительно поднял брови.

— Да-да, — закивал Олег Петрович, — слишком! Утром проснешься — не соображаешь ничего, глаза открыть не можешь, а она уже всюю крутится. Гимнастика какая-то хитрая, потом варит чего-то, потом на прогулку несется. Но это полбеда...

Олег Петрович задумался, вспоминая. Пожилой мужчина развернул было газету, надеясь на окончание разговора, но погрузиться в чтение не смог.

— Полбеда, понимаете? — остановил его Олег Петрович. — Женщина, и в особенности жена, должна умиротворять, правда? А она наоборот — раздражала. Музыку услышит — тут же танцует, встретит кого знакомого — кричит на всю улицу, обниматься лезет. Подаришь ей чего — машет около глаз, будто рыдать собралась и ее вроде как жар разбирает.

Олег Петрович помахал ладонями перед лицом, изображая.

— Нет! Не уговаривайте даже! — продолжил он, а пожилой мужчина обреченно сложил газетные листы вчетверо. — Я категорически против. И не спрашивайте, зачем женился! Не спрашивайте! Я и сам не знаю.

Мужчина поднялся со скамейки и слегка поклонился.

— Вам уже пора? — Олег Петрович глядел с искренним огорчением. — Такая погода! Воздух! Что ж... — крикнул он вслед уходящему, — увидимся как-нибудь еще!

Первая жена Олега Петровича, слишком энергичная, но хорошая, сейчас не узнала бы своего бывшего мужа. Они расстались больше пятнадцати лет назад — удивительно холодный и ветреный выдался тогда апрель. Олег Петрович, взяв пример с ветра, все уходил куда-то из дому, и не сказать, чтобы к новым женщинам, а больше к друзьям. Но и женщины какие-то были, и музыку включали, и свет гасили, но все это было так, по-апрельски несерьезно. Олег Петрович, тогда худой, с челкой, в очках, курил на дружеской кухне, жаловался, неспешно пил чай — печень уже тогда шалила. Друг кивал, сочувствовал и очень хохотал, когда Олег Петрович показывал, как жена делает гимнастику.

Возвращаться домой было немножко стыдно. Жена энергично брала его за руку и спрашивала — что же не так? Потом ушла — на диво бесшумно. А Олег Петрович женился второй раз — на одной из каких-то мелькавших рядом женщин, но снова остался недоволен и браком, и жениными повадками. Если бы пожилой его собеседник не ушел, Олег Петрович пожаловался бы и на вторую жену — как назло, она в полную противоположность первой оказалась медленной и молчаливой. Готовила фруктовые желе и холодцы — холодные, подрагивающие; каши — тягучие, слизистые; уважала сливочные ликеры и густые молочные коктейли.

В этом браке Олег Петрович растерял худобу и лишился челки — облысел как-то быстро и равномерно. Но был от второго супружества и плюс — вторая жена его трудилась доктором-окулистом и помогла ему избавиться от натирающих переносицу очков — себе же на беду. Прозревший после операции Олег Петрович разглядел мелкие прыщички на ее спине, стал глядеть еще и нашел всякого-неприятного: один зуб у жены был желтоватый, и пальцы на ногах слишком уж длинные... Развелся быстро, очень переживал и больше не женился.

— И не то чтобы не хочется... — говорил Олег Петрович друзьям, — но какая-то опаска уже присутствует, — и с легким презрением косился на дружеских жен: одна пухлая, другая красится глупо, а эта и вовсе оскорбительно ненакрашенная.

Олегу Петровичу не было еще и пятидесяти — и расположился он в этом неопределенном возрасте с некоторой радостью: уже не нужно изображать юность, подтянутость, а до настоящей слабости и немощи еще очень далеко. Все было при нем: и хорошая квартира, и необременительная, невеликая, но все же начальственная должность, и личная свобода. И чувствовал он себя удивительно покойно — знал, что живет на своем месте и своей жизнью.

Отправляться на прогулку Олег Петрович сегодня не планировал. Но день нынче выдался очень уж приятный: пятница, и служба порадовала, а потом небольшой банкет случился — и подавали там чуть горьковатое красное вино, приведшее Олега Петровича в несвойственное ему романтическое настроение. Он забыл про печень, смотрел сквозь тонкое стекло

бокала на веселых сослуживцев и даже позволил себе раскованную шутку. После банкета веселые сослуживцы разбежались врассыпную: кто-то в одиночестве, а кое-кто навстречу мужьям или женам с детьми, собаками, супермаркетовыми пакетами. Семейные стайки — кто со смехом, кто с упреками — рассаживались по автомобилям; одиночки двинулись к метро, и все махали Олегу Петровичу на прощание как-то особенно душевно. И он кивал и улыбался в ответ, растроганно думая, что эти пять человек, пять его подчиненных, которых в обычные дни он нередко распекал и, по его выражению, ставил на место, — и есть его семья. Знал он, что к понедельнику эти мысли исчезнут, и от этого чувствовал себя еще лучше: щурил глаза, представляя, как выглядит со стороны — солидный, умеющий владеть собою, но очень редко позволяющий себе маленькие человеческие слабости...

Он отправил в рабочий чат одобряющий смайлик, потом подумал и удалил сообщение. Прикрыл лысину шляпой и собирался было вызвать такси, но винные пары все не отпускали, кружили и увлекали вверх по улице — в городской парк, где зеленоватой дымкой кудрявилась свежая листва тополей.

Добравшись до центральной аллеи, Олег Петрович немного устал и решил присесть. Все скамейки были заняты, и он выбрал ту, на которой сидел приличного вида старичок с газетою. Но разговора не вышло, и теперь Олег Петрович остался один — оглядывался, понемногу теряя хмель и ежась от вечерней прохлады, выползающей из-за деревьев.

Где-то за деревьями была река — Олег Петрович видел ее краешек из окна своего кабинета, но уже совсем не помнил ни запаха, ни цвета ее воды. Смутно помнилось ему, что первая жена любила бегать по набережной и все рассказывала ему какие-то глупости: что-то о том, как ивы полощут в быстром течении кончики своих серебристых кос, и что бег воды и перебор прибрежных камешков похож на тихую музыку.

Олегу Петровичу стало скучно. Хорошая публика — мамы с колясками, порядочно одетые дамы средних лет, чистенькая молодежь — уже расходилась. Вместе с вечерним холодом со стороны реки двинул народ подозрительный, не подходящий гладко причесанной центральной аллее и норовящий войти в парк с черного его хода, и Олег Петрович решил свое внезапное приключение завершить. Пообещав сам себе непременно погулять здесь еще, но днем, он встал и направился к выходу.

Он шел, и все оглядывался на оставленную им скамейку, и отчего-то жалел ее — вот сидел на ней приличный человек в костюме и плаще, а теперь расположится всякая дрянь... Удивляясь своей внезапной сентиментальности и не глядя вперед, он вдруг налетел на что-то твердое и темное, охнул и упал на колени, слыша отчего-то звон и треск.

— Что такое... — пробормотал Олег Петрович, поднимаясь, — что за безобразие?

Перед ним, прямо на аккуратно уложенных плитках аллеи, сидела девушка, совсем молоденькая, лет семнадцати. Обхватив обеими руками лодыжку, она поскуливала тоненько, как щенок, но смотрела не на ногу и не на Олега Петровича, а влево — на лежащую рядом и треснувшую с одного бока гитару.

Олег Петрович сообразил, откуда был слышен звон и треск, и устыдился.

«Такой был хороший день», — с сожалением подумал он и потер ушибленное колено.

— Ну-ну... — сказал он девушке. — Тебе... Вам стоит быть повнимательней. Я, конечно, заплачу. Сколько стоит ваша... твоя гитара?

Олег Петрович путался в «ты» и «вы» и злился сам на себя, не зная, как вообще положено разговаривать с девицами таких лет? Была бы она красавица, можно было бы выбрать тон покровительственный, но шуточный — мол, знаю я все ваши штучки; так Олег Петрович обычно разговаривал с секретаршами. Но девушка была круглолицая, пухленькая, со странной прическою — три косы, а поперек лба тесемка с блестящими камешками.

— Э! Ты че творишь? — со стороны оставленной Олегом Петровичем скамейки двинулся к нему, неприятно поводя плечами, высокий юноша с длинными, убранными в хвост волосами, в пыльных джинсах и черной футболке. Был он не один — за ним из быстро сгущающихся сумерек тянулись другие, глядевшие с угрозой и любопытством.

Олег Петрович растерялся. Снял зачем-то шляпу, откашлялся — но сказать ничего не смог.

— Нормально все, ребята! — девушка поправила свою блестящую тесемку и протянула Олегу Петровичу руку. — Помоги встать.

Он послушно потянул ее вверх, поднял и гитару.

— Нормально все, — повторила она, и пыльный юнец остановился. — Я споткнулась просто. Не мой сегодня день, Эдик. А это мой папа, кстати. Погулять со мной захотел.

— Папа? — недоуменно спросил пыльный и усмехнулся. — Ладно, Линка, как скажешь. Если что, позови.

Неприятный юноша удалился в сумерки, а Олег Петрович смог наконец заговорить.

— Папа? — спросил он у девушки, протягивая ей треснувшую гитару.

— А что не так? — ответила она и улыбнулась. — Может, вернуть Эдика?

— Нет-нет, не стоит, — спохватился Олег Петрович и сообразил улыбнуться в ответ. — Спасибо вам... тебе...

— Проводишь меня, ладно? А то мне идти больно. Я тут недалеко, через дорогу, — сказала девушка и, не дожидаясь ответа, взяла Олега Петровича под руку. — Ногу еще полгода назад растянула, так теперь чуть что — сразу хромаю. Долго заживает. Были у тебя когда-нибудь растяжения?.. Гитару сам понеси, а я за тебя держаться буду.

Олег Петрович, справляясь с внезапным головокружением, прижал гитару к левому боку и повел прихрамывающую девицу по центральной аллее к выходу из парка.

Отец снился Лине частенько, но она никогда не могла разглядеть его лица. И поговорить с ним никак не получалось — чаще всего в ее снах отец лежал, раскинув руки в той особой расслабленной манере, какая доступна лишь человеку, лишившемуся сознания. Вокруг толпились врачи — перебирали прозрачные трубки, звенели металлом, шептались, поглядывая друг на друга поверх масок, — но отца от Лины не заслоняли, и она видела, как неподвижно и плоско лежит зеленая ткань больничной рубашки на его груди.

Лина просыпалась в недоумении, листала сонники — по всему выходила ей тоска-печаль, а еще неприятные разговоры и ссоры. Она вставала

ла, шла на кухню и шаркала ногами, и самой было неприятно от этого старческого шарканья и слабости. Мысленно надавав себе тумачков и окончательно проснувшись, Лина заваривала чай, грызла печенье и вспоминала, что мама рассказывала об отце и прежней их жизни.

Со временем рассказы эти Лине так хорошо запомнились, что казались собственными воспоминаниями: будто бы сама видела она сухой южный городок, душную съемную комнатку с двумя кроватями и тумбочкой меж ними и каждое утро провожала отца с мамой на работу, сидя на табуретке и болтая ногами. Но на самом деле до Лениного рождения оставалось еще два года, и мама была еще худая, с короткой стрижкой, а папа все радовался, как удачно они устроились и что работенка у них не бей лежачего.

По утрам, прихватив бутербродов, они садились в автобус и отправлялись за город, в свежестроенный коттеджный поселок. Было здесь когда-то озерцо с камышами, но его осушили, оставив лишь болотце; по вечерам из болотной жижи поднимались тучи мелких, злобных и неуловимых кровопийц, и, словно в отместку, медленно, но верно оседал в зеленую лужицу отведенный под сады-огороды грунт.

Забор в конце участков из-за оседающей земли поставить не удалось, и умница-застройщик радовался, что раньше догадался не спиливать растущие по берегам озерца ивы. Серебристые пряди, почти касавшиеся земли, давали легкую кружевную тень, шелестели на ветру, скрывая то, что нужно было скрыть; и сами домишки, выстроенные по модным лекалам, гляделись легко и задорно: чистенький оранжевый кирпич, красные крыши, умытые окна — да не простые, квадратные, а высокие, в полстены, вырезанные полукругом по верхнему краю.

Местные жители только качали головами, жалея будущих хозяев: комары сожрут, земля из-под ног уйдет, стены тонкие, крыши собраны кое-как и вместе с этими хитро выдуманными окнами не удержат лютые зимние ветра и ливни.

Но покупатели — люди нездешние — видели только трепет ивы и веселый рыжий кирпич, а уж внутри домишек и вовсе теряли дар речи: зря, что ли, застройщик расставил по комнатам фасонистые кровати с вензелями на спинках, укрыл их пушистыми покрывалами, а в изголовьях повесил картины — то с обнаженной девицей, то с кораблем, стоящим в ровном, как одеяло, море.

Но даже с блестящими шторами и мягкими креслами дома отчего-то не выглядели жилыми, и было внутри них неуютно, тихо и пусто. Домам нужны были люди.

Автобус довозил отца с мамой почти до самых ворот поселка. В будочке охранника они получали ключи, а после, не торопясь, будто бы вживаясь в роль, шагали по укрытой плиткой аллее к дому под номером шесть.

Отпирали калитку — мама непременно заглядывала в укрепленный на ней почтовый ящик, будто бы ожидая письма, — и входили во двор. Мама тут же хваталась за лейку, поливала полосатые петунии, гнездившиеся в пластиковых горшках, а после выметала со двора сухие цветки и листья. Отец отпирал дом, распахивал окна — комнаты нужно было хорошенько проветрить — и брался за швабру. К половине десятого в доме было свежо и чисто.

Отец включал в гостиной телевизор, выбирая какой-нибудь музы-

кальный канал, а мама доставала из холодильника упаковку яиц и молоко. Мука хранилась в шкафчике у раковины. Там же стояла и большая бутылка подсолнечного масла.

Около десяти мама разбивала в миску три яйца, разбавляла их молоком и маслом, добавляла муку и, не торопясь, перемешивала жидкое тесто вилкой. Отец доставал из кладовки лопату и шел в огород.

В одиннадцатом часу возле калитки останавливалась длинная белая машина. Выбирались из нее, щурясь от утреннего, но уже ослепительного солнца, незагорелые люди — чаще всего молодые пары, реже одиночки. С водительского места выходил Аркадий — смуглый, гладко выбритый, всегда с капельками пота над верхней губой и на лысине. Аркадий с улыбкой распахивал перед своими пассажирами калитку и, не оборачиваясь, нажимал кнопку на брелоке сигнализации. Машина тонко взвизгивала, и двери ее запирались со щелчками, похожими на стук мышеловки.

— Покупатель должен понять вот что, — растолковывал Аркадий отцу и маме, принимая их на работу в мае. — Вы в этом доме живете хорошо, и продавать вам его жалко. Продукты из холодильника не жрать, я все проверю. Телевизор включать в половине десятого — только музыку, никаких ток-шоу и новостей. Ты, — Аркадий ткнул в отца пальцем, — в десять идешь в огород. Копаешь там хорошенько. Если поинтересуются — скажешь, все решил перекопать и сделать газон. А ты, — поглядывая на маму, — тесто месить: три яйца, мука, молоко и масло. Печку включишь — прогоню обоих. Покупатели уедут, тесто в холодильник поставь, я потом заберу. В сортире чтоб чистота была. В душ не вздумайте лазить. На кроватях будете валяться — сразу уволю. На диван садиться только при покупателях. Если спросят, почему продаете, говорить, что сестра на Урале родила тройню и вы решили все продать и ехать ей помогать, ясно? Я привожу покупателей в десять, в двенадцать и в три. После трех все выключили, закрыли и ушли. Ключи сторожу отдал. За день работы даю пятьсот рублей. Устроит?

Отца и маму все устроило.

Покупатели любопытничали, заводили беседы, и в отце обнаружались вдруг недюжинные актерские способности. Мама немного стеснялась, все возилась со своим тестом, а отец по-хозяйски раскрывал двери комнат, рассказывал о тройняшках-племянниках, даже не дожидаясь вопросов, а потом, в саду, махал руками, показывая, где была у него капуста, а где помидоры, и что надоели они ему хуже чертей, и решил он разбить по всему саду газон, а она — махал он в сторону мамы — пусть бы уж цветов своих бесполезных по краям рассадила, и вообще, если бы не тройня и не подлец сестрин муж, кинувший ее перед родами и все деньги с собой прихвативший, ни в жизнь бы они с этой земли не тронулись.

Аркадий улыбался, покупатели сочувствовали.

Когда белая машина уезжала, отец и мама отдыхали. Перекусывали припасенными бутербродами, сидели рядышком на скамейке, любуясь пляшущими на ветру ивовыми ветвями. Когда становилось жарко, уходили в дом, лежали на мягком ковре в гостиной и молчали, не забывая следить за часами. Они загорели и были очень счастливы — каждый день с девяти до трех.

Даже по маминым рассказам Лина очень полюбила тот дом. Одноэтажный, приземистый, выстроенный не для человека, а для продажи. Полюбила полосатые петунии, иву в конце огорода, огромные окна, охот-

но впускаявшие внутрь солнечный свет. Полюбила тишину, мягко опускающуюся на дом и двор сразу после отъезда белой машины. Очень хорошо представляла себе, как мягко и легко входит лопата в десятки раз перекопанную землю, как стучит венчик о керамическую миску, как льется на полосатые петуниевые цветки прохладная вода. Привязалась даже к соседям — пожилым тете Свете и дяде Сереже, таким же ненастоящим хозяевам, которых уволили ближе к августу, потому что тетя Света, несмотря на строгий запрет, сварила себе кофе и упустила его, залив блестящий хром печки. И Лина чувствовала то же, что и мама с отцом, ежедневное сожаление, когда нужно было запереть дом и калитку, отдать ключи сторожу и вернуться в крохотную равнодушную комнатку со следами убитых комаров на беленых стенах.

Уже к началу осени десять домиков в поселке были проданы. Последний, под номером шесть, продали пятого сентября. Мама и отец на сделке, конечно, не присутствовали — вместо них, вооружившись нужной доверенностью, все подписи оставил Аркадий. Он передал новым хозяевам ключи и только пожимал плечами в ответ на все их вопросы о прежних владельцах.

Отец звонил Аркадию и спрашивал, не найдется ли у него еще работы, желательной такой же, непыльной. После двух бессмысленных разговоров Аркадий перестал брать трубку, а мама плакала по ночам, причитая, что хочет домой, подразумевая под домом тот, ивово-комариный оазис.

В конце октября, в самый разгар нежнейшего бархатного сезона, отец и мама покинули свою съемную комнатенку и отправились на вокзал, насмешив кассиршу просьбой продать им билеты куда-нибудь на Урал.

— Город, город мне назовите, мужчина! — кричала она, смеясь, а отец смотрел на маму растерянно...

Мама еще спала, Лина старалась не шуметь и даже кружку мыть не стала. Уткнулась в телефон, листая разноцветные ленты новостей, раскрывая неотвеченные сообщения, стирая ненужные письма.

С мамой они вчера поссорились, потому что Лина рассказала ей, что собирается поехать на юг работать русалкой. А когда заработает много денег, откроет свой собственный морской аттракцион; наверняка это очень просто, если подойти к делу с умом, — девочки на ютубе об этом все подробно рассказывали. А уж на собственном аттракционе можно заработать кучу денег и, может быть — тут Лина выложила свой главный козырь, — купить на юге небольшой домишко. Лина старалась, описывая свой будущий хвост — изящный, блестящий, гладенький — и длинные волосы, несущиеся за нею, как медузовые щупальца, а на груди — как и положено у русалок — две плоские ракушки, скрепленные в морской лифчик. Или океанский — так лучше звучит. И сделать-то осталось самую малость: уехать из серенького — ни рыба ни мясо — городишка к нежному югу, устроиться там в океанариум или какой-нибудь туннельный бассейн, а там уж выплывать навстречу гостям, прижимать ладони к толстому стеклу, улыбаться и отмахиваться от стремительных рыбок.

Мама сначала слушала с недоумением и молча, а потом, конечно, разошлась.

— Да ты даже плавать толком не умеешь! — кричала мама, краснея и задыхаясь. — Ты — как папаша твой, с шилом в заднице, ничего по-нормальному сделать не можешь! И так сидим тут на птичьих правах, а я уже

двадцать лет как перекати поле болтаюсь! Сначала с ним, теперь вот с тобой! А я, может быть, совсем другого заслужила! Я, может быть, совсем не так хотела жить! Какие русалки, к чертям собачьим? Точно как отец — придумаешь полоумие какое-то и радуешься! То гитара эта, на голове веч-но бардак, шляешься неведомо где по ночам!

Она махнула рукой, а Лина замерла: может быть, вот прямо сейчас мама расскажет то, что наотрез отказывалась рассказывать — почему и куда ушел от них отец, где он может быть сейчас и можно ли его найти? Ведь у нее, у Лины, точно такое же шило в заднице, и они наверняка бы поняли друг друга!

Но мама больше ничего не сказала, ушла в комнату и закрыла за со-бой дверь.

Целый день они не разговаривали. Еле дождавшись вечера, Лина прихватила гитару и сбежала в парк — к своим.

3

Девушка открыла дверь и впустила Олега Петровича в прихожую — темную и тесную, напичканную острыми вешалками, полками, тумбами, увешанную одеждой — сплошь серой и черной, уставленную отчего-то непарной обувью — один сапог, один тапок... Олег Петрович немедленно наткнулся плечом на металлическую ветку вешалки, засопел, потирая ушибленное место, повернулся, попятился и споткнулся.

— Тихо ты, тихо! — Девушка удержала его за рукав пиджака. — Мама услышит. И не разубивайся. — Она потянула его вперед и влево. — Вот тут кухня.

Олег Петрович не разбирая пути шагнул за нею, повернул куда-то в темноту и зажмурился от брызнувшего вдруг в глаза яркого света.

— Люблю, когда светло! — сказала девушка и подвинула поближе к Олегу Петровичу хлипкую табуретку. — Садись, папуля.

— Я, наверное, пойду, — неуверенно ответил Олег Петрович. — Сколько я тебе должен за гитару?

Вино из его головы окончательно испарилось, остался лишь звон и страх — а ну как выскочат из соседней комнаты бугаи, отберут бумажник, телефон? А если еще и побьют? Как это так вышло — пару часов назад сидел себе в хорошем ресторанчике, веселился и вдруг оказался непонятно где, в убогости и тесноте? И ведь даже не расскажешь потом никому, что с ним приключилось, — не поймет никто. И как ей теперь отдать деньги за гитару, чтобы бумажником не светить?

Он оглянулся вокруг — бывать в таких крошечных кухнях ему не приходилось с юности. Однако стол был чистый, светились белым кухонные шторы, выстроились на сушилке у раковины до блеска отмытые тарелки и чашки, а над столом висела фотография пожилого мужчины в толстом галстуке и очках.

— Дедушка? — кивнул Олег Петрович на фото только для того, чтобы что-нибудь спросить.

— Не-е-т, — протянула девушка. — Это хозяин квартиры, он одноногий и почти не встает. А мы за ним с мамой присматриваем, ухаживаем и за это здесь живем. А вчера его в больницу забрали, что-то с сердцем. Но у него частенько бывает.

Она достала из сушилки две чашки и включила чайник.

— Чаю?

Олег Петрович открыл было рот, чтобы отказаться, но в кухню из темного коридора бесшумно вошла невысокая полная женщина — молодая, с пушистыми распущенными волосами, слишком длинными для ее возраста и роста.

Увидев Олега Петровича, женщина охнула, пошатнулась и оперлась спиной о стену, чтобы не упасть.

— Леша... Лешенька! Ты вернулся!

Она кинулась к Олегу Петровичу и обняла его, замерев, даже не дыша.

От ее волос пахло кухонным чадом, и обхватила она Олега Петровича так, как держат соперника уставшие боксеры.

— Простите, — сказал он, осторожно пытаясь освободиться от объятий. — Извините...

— Лешенька, как же мы долго тебя ждали, — прошептала женщина и подняла лицо, вглядываясь в Олега Петровича с восторгом.

От изумления он даже перестал сопротивляться ее рукам и отчего-то, не отрываясь, тоже смотрел в ее лицо — печальное и бледное, будто бы отсыревшее.

— Мама! Мама! Отпусти его! — смеялась девица. — Это не папа! Он мне гитару сломал, обещал новую купить! Не папа это!

Женщина снова охнула, отпустила Олега Петровича, отступила на шаг и прищурилась.

— И правда не он... Но похож... Немножко.

Она неловко улыбнулась и поправила волосы.

— Вы простите... Я обозналась... Гитары, значит, продаете?

— Не продает, а сломал, — вставила девица, но женщина ее будто бы и не слышала.

— Вы извините, — повторила она. — Я не нарочно. Муж просто уехал, а я его все жду и жду. Должен вот-вот на днях появиться. Вот и обозналась...

— Бывает, — пробормотал Олег Петрович, изнывая от неловкости. — Так я пойду.

— А гитара? — возмутилась девица.

— Постойте, — сказала женщина, — вы не обращайте внимания, у нас тут тесновато и беспорядок. А ведь мы когда-то на юге жили... Такой был у нас хороший дом! Двор весь плиточкой, а по бокам я петунию насадила, поливала ее каждый день, ухаживала... В доме все по уму: и ковры, и диваны, и даже картины висели — красивые-е-е... А в конце огорода — огромная ива! А муж-то мой, знаете, чего удумал? Весь огород перекопал, капусту там, помидоры, все убрал и газон сделать хотел! Но пришлось наш дом продать и уехать сюда, родне помощь была нужна...

— Мама, перестань, — негромко сказала девица, — не надо.

— Что не надо? Что? — возмутилась женщина. — Ты вообще молчи!

— Представляете? — обратилась она к Олегу Петровичу. — Эта-то что вытворяет? Бегает все в этот парк по ночам, играют они там на гитарах, видите ли. Знаю я эти игры! Ходит как попало, косы плетет, вон на лоб какую-то дрянь цепляет. А вчера вообще заявила, что хочет уехать от меня и работать русалкой, вы только подумайте! Был бы отец здесь, он бы мигом ей мозги вправил. Но уехал вот, уехал... Вы простите, что я так глупо обозналась, темно тут, а я растерялась как-то. А я, может, еще пожить хочу, мне ведь всего сорок семь! А вот вы — женаты?

Олег Петрович торопливо кивнул и вдруг — непонятно отчего — с бла-

годарностью подумал о своих бывших женах — и о первой, и о второй. Ему снова стало страшно, но не за бумажник и телефон, а за собственный рас-судок. Дом? Ива? Русалка? Всего сорок семь?

Но женщина не умолкала и говорила все быстрее, слова ее будто сы-пались Олегу Петровичу на голову и больно стучали по макушке.

— Я ей твержу, что нужно по уму жить. Люди вон, — она кивнула на Олега Петровича, — шляпы носят — а она что? А я ведь тоже поддер-жки хочу. Дом хочу. Дерево. Почему у кого-то есть дерево, а у меня нет? И вообще устала я, ох, как же я устала... Еще дедушка у нас заболел, сер-дце у него прихватило...

Женщина закрыла лицо руками и заплакала.

Девица, не глядя на Олега Петровича, обняла ее и стала покачивать, словно расстроенного ребенка.

— Ну не плачь, не плачь, мам, все будет хорошо! Не поеду я никуда, если ты не хочешь, не поеду! И все непременно будет хорошо! Вот помрет дед, квартиру на нас переписшет, и будет у тебя свой собственный дом!

— Ну да, конечно, переписшет он, — всхлипывала женщина. — У него три внука и племянница... А мы ему никто-о-о...

— А он на нас переписшет, вот увидишь! Внуки ему ногти на ноге не стригли, а мы стрижем... — Девица гладила женщину по спине и сама еле сдерживала слезы. — И мы с тобой мигом весь хлам из коридора выбро-сим, правда-правда! А хочешь, коврами все застелим — ходить будет мяг-ко. Картины повесим и цветов посадим на балконе.

Женщина ничего не отвечала и только кивала, вздыхая и дрожа.

Олег Петрович тихонько, чтобы никто не заметил, отступил к кори-дору. Достал бумажник и вынул из него две красненькие бумажки. По-думал и вынул еще одну — синюю, подержал и спрятал обратно. Поло-жил две бумажки на табурет и на цыпочках попятился к выходу.

Никто его не удерживал и не окликал; он вышел к лифту, но сесть в него не рискнул, спустился по лестнице и толкнул тяжелую, на пружи-не, подъездную дверь. На улице уже совсем стемнело, но так радостно и ровно светили фонари, и смеялись где-то за углом так беззаботно и лег-ко, что Олег Петрович расправил плечи и пошел вперед, без труда спра-вившись со странным ощущением — лишь на секунду показалось ему, будто бы он что-то забыл сказать или сделать.

КУРИНАЯ СЛЕПОТА

1

Выезжали спозаранку. Новая хозяйка квартиры глядела с любопыт-ством — и на аккуратные чемоданы, и на рюмочку с корвалолом, и на за-плаканное материно лицо. Мать пустилась было в беседу — объясняла, что раковина на кухне иногда капризничает, а полпакета стирального порош-ка — хорошего, дорогого — остались в ванной, но под Катиным взглядом осеклась и умолкла. Жаркие солнечные квадраты, всплывающие в окна по утрам, отправились в свой ежедневный путь от подоконника до стены, отмеряя время от завтрака до полудня, чтобы исчезнуть в тихий обеден-ный час уже на чужих, равнодушных глазах. Хлопали двери на сквозня-ке, лился в комнаты привычный уличный шум, и таксист, вошедший без звонка и стука, подхватывал чемоданы с такой легкостью, словно были они совсем пустые.

Усевшись на детский одеяльце, зачем-то расстеленное водителем на заднем сиденье, мать закрыла глаза, чтобы не видеть, как движется рядом с автомобилем знакомый до кочки двор — с недоумением, прощаясь, прячась где-то за спиной, в полутемном закоулке памяти, отведенном для ушедшего и потерянного. Потом стыдилась залитых слезами щек, встряхивалась, шумно рылась в сумочке, доставала то расческу, то зеркальце, то бутылочку с кипяченой водой. День выдался дивный — чистый, будничней, простой, такси летело легко, минуя светофоры без задержек, и быстро, очень быстро вырос впереди острый, похожий на огромную зубочистку шпиль вокзала.

Двигаясь на юг ранней весной хотелось немногим — и оттого ленивый длинный поезд казался полупустым и тихим. Ветер резво гонял сухую пыль от путепровода до перрона, и казалось, что нет и не может быть никакой трагедии в отъезде — а только обыденность, только скука.

— Надо же, — сказала мать, войдя в купе, — не вернуться. Как же мы тут три дня?

Вагоны задрожали и дернулись, заплясало в окне узкое полотно занавески и заработало неведомое раньше ни Кате, ни матери железнодорожное волшебство: стенки купе будто раздвинулись, а потолок поднялся. Мать зашелестела, засуетилась, закрутив возле себя небольшой смерч из постельного белья, пакетов и пузырьков.

— Главное, добыть кипятку, — бормотала она, — и не пропадем. Веник бы... Хотя, погоди, я же щетку складывала. Ноги подними-ка.

Где-то гремели чем-то железным — будто миски падали в тазы, а за оконным стеклом мелькали неяркими пятнами невысокие зданьица, построенные невесть для чего в каждой полосе отчуждения и всегда пустые.

— Ох, господи... — сказала мать, завершив хозяйственную возню. — Едем, значит.

Хотела было всплакнуть, но, опередив ее, в соседнем купе зарыдал ребенок — отчаянно, во весь голос, и мать только вздохнула, мгновенно перейдя от жалости к себе к сочувствию неизвестному дитяте и его родителям. «Маленькому-то в такой тесноте», — прошептала она и мысленно перебрала содержимое упрятанного под полку пакета с припасами.

— Ты, Катюш, прикорми тут. Не спала ночь, наверное. А я схожу, погляжу, не надо ли чего.

И ушла, прихватив шоколадку.

Прошедшей ночью Катя и вправду не спала — дремала, не погружаясь в сон, а словно спотыкаясь, падала в неглубокие сонные ямки и тут же просыпалась — в гулкой, лишенной мебели комнате, — ворочалась, пытаясь угнездиться, то мерзла, то задыхалась от дурной, тревожной испарины. По-хорошему, при бессоннице положено было будить мать, и та, охая, прихрамывая, плелась на кухню, кипятила воду, кидала в чашку сухие щепотки — что там положено кидать, надо бы запомнить, наконец. Меленькие, колдовские движения, то ли шелест, то ли перезвон, шорохи и постукивания, а потом тишина и желтый, спокойный свет, падающий из кухни на темные дощечки паркета. В этом безмолвии распускалась в чашке сухая травка — вспомнила: чабрец, — и таяла, уходила от Кати злая, осой жужжащая тоска. Два глотка горечи — и сможешь спать.

Но прошедшей бессонной ночью — пустой, последней ночью на старом месте — будить мать Катя не стала: сражаться с бессонницей было бы нечем. Ситечко, серебряная солонка в виде уточки, чайники — большой, маленький и средний, — кастрюли, ковшики и черпаки, переложенные

газетными листами тарелки, чайные чашки, мраморная ступка, супница в золотых цветах, никогда не используемая для супа, но хранящая в своем фарфоровом нутре тоненькие книжицы с рецептами сладостей и солений, — все эти хрупкие обитатели кухонных шкафов уже позвякивали в темноте грузового вагона, пущенные в новую жизнь прежде своих владельцев.

Теперь и сама Катя неслась, покачиваясь, по рельсам следом за домашними пожитками — содержимым двух комнат, балкона и кладовки, вспоминая, какой обиженной, униженной и обнаженной выглядела вся эта комнатная утварь во время погрузки и упаковки. Глупые мысли, бессмысленная жалость — саму-то Катю некому жалеть. И разве уснешь тут, пусть и утихомирилось рвущее за стенкой дитя.

Мать вернулась через полчаса, укоризненно покрутила головой и изрекла неожиданное:

— Везучие мы с тобой, Катя.

— С чего это?

— Да вон ребята туда-сюда мотаются, да с дитем еще. От войны бежали. С юга — на север, не прижились, теперь с севера — на юг. У нас и паспорта, и полис — если что. А у них права птичьи — то ли беженцы, то ли непонятно кто. Я им про нас чуток рассказала, что продали мы все и тоже вроде как бежим, но разве мы *так* бежим, Катя?

Слушая про беды незнакомец Кате не хотелось, и она отвернулась, вслушиваясь в тяжелый, с усилием, перестук и улавливая лишь отрывки из материного бормотания: «Мальчику-то лет шесть, не больше... и ни дома, ничего не осталось... до сих пор стреляют... отец на руинах остался, в сарае живет... в саду и яблони были, и вишня... сама-то опять беременная... и попивают, похоже... малыша жалко, не родился еще, а уже несчастный...» Собственная беда по сравнению с чужой казалась Кате и важнее, и горче — пусть и совестно было бы сказать об этом вслух, но себе самой-то можно и не врать. А мать — бесхитростно, просто — от страшной, но исключительно чужой безнадежности вдруг почувствовала себя счастливой, и стыдно ей от этого счастья не было, а только жаль было, очень жаль, что так в жизни выходит. И она представляла себе, как могла бы бежать с Катей от стрельбы и взрывов — непременно ночью, ведь большая беда всегда приходит в темноте, — и бежали бы непременно налегке, ничего бы взять не успели, а теперь бы ехали, пугаясь каждого стука и голоса, и каждый мог бы их обидеть и прогнать. «И ни помыться, ни поспать...» — думала мать, все покачивала головой и бормотала: «Это ж надо же, как...»

Мать была совсем не старая, но уже давно усвоила себе манеру старческую, пожилую — в беседе, в домашних хлопотах и в том, как осторожно, бережно носила свое тяжелое тело. Так было и проще, и хитрее; мать словно бы обманывала судьбу, жестокую к молодости и цветению, но равнодушно проходящую мимо отцветшего и поношенного: не закрашивала седину, говорила тихо, даже после недолгой прогулки спешила прилечь, платья выбирала широкие да потемнее, а на людях частенько прикладывала руку к груди и замирала, вслушиваясь и шевеля губами. В своей полноте мать чувствовала себя уютно, безопасно, будто тело окружало ее — настоящую, невидную — надежным, никому не интересным убежищем.

Ребенок в соседнем купе опять заплакал, и завизжала следом за ним женщина. Упало на пол что-то тяжелое, что-то завозилось и забилося. Шарахнуло дверь, и визг стал невозможно высоким, прервался, и по-

сыпалась вместо него слова — но ничего понять в них было нельзя, — перемежающиеся резкими, короткими ударами, словно колотил кто-то в стенку кулаком.

— Что ж это? — мать смотрела на Катю растерянно. — Поубивают сейчас друг друга. Малыша напугают. Может, полицию надо? Где проводники-то?

— Да сиди ты, не суйся, — раздраженно оборвала ее Катя. — Тебе еще достанется. Сами разберутся.

Разобрались и вправду быстро. Женщина умолкла, а ребенок все рыдал, и казалось, что плачет он не за стенкой, а совсем рядом. Мать осторожно отодвинула дверь и ойкнула: мальчик сидел на красном коврикe, подняв к ней мокрое лицо и растягивая губы скобкой — углами вниз.

— Ну-ка, давай-ка сюда, — скомандовала мать; он ловко, как змейка, скользнул мимо нее, и опрокинутая скобка тут же исчезла с его лица.

— Как тебя звать? Голодный? Ну ничего, ничего, всякое бывает. И часто у вас так? Страшно тебе? — Мать сыпала вопросами и суетилась: влажными салфетками вытерла мальчику лицо и руки, высыпала на столик кучу мелких свертков — с бутербродами, печеньем, аккуратно нарезанными яблочными дольками, вафлями и конфетами.

Мальчик представился Петей и угощение принял охотно — держал все предложенное двумя руками и грыз быстро, дергая носом на беличий манер. На остальные материны вопросы отвечал неохотно, пожимал плечами и хмурился. Вытянула мать из него лишь возраст — оказалось, что ему не шесть, а целых восемь лет; и очень хотел он, чтобы появился у него брат, а не сестра, потому что девчонка никак ему не подойдет, а брата можно всему научить — и будет куда веселей.

Поезд тем временем въехал в сумерки, заспешил в сторону ночи, и мать сдвинула оконные шторы, закрыв тревожный профиль горизонта, выведенный на бесцветном небе черной тушью.

— Ложись, малыш, ложись. А вот я тебе простынку домашнюю постелю, нечего на этих казенных тряпках спать, — и мать взмахнула перед Петей ситцевой, в цветочек, тканью.

Катя, недовольная неуместной материной добротой, забралась на верхнюю полку и глядела оттуда укоризненно и сурово, но потом уснула — на удивление быстро и легко.

— И ты спи, — мать робко дотронулась до лохматой Петюниной макушки — погладить не решилась. — Завтра пораньше разбуду тебя, твои небось уже угомонятся, да и пойдешь к ним.

Соседнее купе молчало — словно и не было там никого. Поезд замедлил ход, а после остановился. Мать слушала, как хрустят под чьими-то шагами камешки, как переговаривается с кем-то кто-то неведомый — негромко и печально, и сама опечалилась от того, как равнодушно льется в окно яркий огонь фонарей. Но прошло лишь несколько минут, и снова дернулись вагоны, уплыл в темноту фонарный свет, а поезд разогнался, качая лежащую мать из стороны в сторону. «Как младенца качает, — улыбалась она про себя, хотела было вспомнить, как укачивала маленькую Катю, но вместо этого подумала о Пете, — надо ему с собой еще шоколадок, да конфеты еще где-то были...»

Проснулась она от тихого движения, несоразмерного ни вагонной качке, ни сну: где-то под ней, по самому полу, двигалось что-то маленькое, темное, и мягко ехала из-под ее головы подушка — туда, под голову, мать уложила сумочку с документами и кошельком.

Скосив глаза в сторону, мать увидела пустую устеленную ситцевыми цветами полку — и заговорила туда, вниз, к полу, внятно и неспешно:

— Петюнь, да там рублей пятьсот, не больше. Я забоялась деньги брать в поезд, ехать-то всего три дня, чего покупать-то? Лучше еды побольше взять, правда?

Маленькое и темное замерло, потом шмыгнуло носом и спросило:

— И карточки, что ли, нет?

— Нет, что ты, не люблю я их. Только сберкнижка, но по ней без меня никак не получишь. Ты с пола-то встань, простудишься. Может, поспишь еще? Или конфет хочешь?

Темнота молчала, а мать сжалась, ощутив вдруг остро и болезненно собственную крупную тяжесть и подумав, что сейчас ее надежное телесное убежище защитить свою владелицу никак не сможет, ведь грозит ей не взгляд и не слово. «А если нож у него? Кричать? Катя испугается...»

— Я пойду, — сказала темнота, — а ты за мной закрой на замок. И не пускай больше никого, дура. — Ругательство вышло беззлобным и даже ласковым.

Дверь скользнула в сторону почти бесшумно — открылась и закрылась; мать, унимая дрожь, щелкнула замком, улеглась, укуталась было одеялом, но тут же села и напарила ногами тапки. Поезд снова умерял ход, серый утренний свет забрезжил меж занавесками; задвигались, а после остановились за окном острые длинные тени. Мать встала, глянула на крепко спящую Катю, достала из-под подушки не добытую Петюней сумочку, накинула куртку и вышла в ледяные, весело пляшущие сквозняки коридора.

Соседнее купе было открыто, сердитый проводник сдирал с полок белье и одеяла.

— Где ж соседи-то наши? — спросила мать. — Погулять, что ли, собрались? А мы долго стоять будем?

— Техстоянка один час. А эти ночью еще вышли, — ответил он и отвернулся.

— А мальчик как же? Они ж беженцы, куда ж они? — переполошилась мать.

— Да какие беженцы, врут для жалости, а вы слушаете. А пацан только что смылся, еще и чай весь спер, засранец.

— А если потеряется он? Может, в полицию?

— Женщина, знаете что... — начал было проводник, но умолк, махнул рукой, и по лицу его читалось, как ненавидит он и это раннее утро, и мятые простыни, и мальчиков, и пожилых надоедливых толстух...

Выйти из вагона мать не решилась. Она стояла, крепко держась за поручень, и глядела на усыпанную светлым гравием дорожку и небольшой пруд, окруженный сухими, изломанными стрелами камышей. Зябли в воде деревянные мостки, где-то далеко лаяли собаки, а колкий утренний холод марта даже не обещал весну.

Мать подумала, что пруд, и темные дачные домики, и прошлогоднюю траву — все это скучное, простое — она не увидит больше никогда; что через пару месяцев здесь будет зелено и шумно, а она никогда больше этого не увидит. И ей вдруг захотелось зашагать прямо в тапочках по дороге, чтобы камешки скользили под ногами, пройти по дощечкам мостка и опустить в холодную воду кончики пальцев, обернуться, посмотреть на медленно трогаящийся, набирающий скорость поезд, а потом остаться совсем одной.

«Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь...» — напевала мать, глядя в сердитое личико дочери; ишь, головенка с кулачок, а такая серьезная.

Страшно матери не было. Смутить ее, помешать ей никто не мог: Катюшин отец, допущенный в дом даже не по слабости женской, а случайно, никогда больше материных порогов не переступал, а родни никакой в живых у нее уже не осталось. Некрепкий был ее род, непрочный — все болели, пропадали где-то, выбирая дороги самые неудачные, и, что хуже всего, — переносили выпадающие на долю несчастья смиренно, без борьбы. Одна мать вышла покрепче и даже грузностью своей отличалась от остальных — тонкокостных и сухоньких. И теперь нахмуренный младенческий лобик радовал ее до слез — сердится, значит, жить будет хорошо, прочно. «Колдуй, баба, колдуй, дед... — пела мать, пряча в шкаф теплые от утюга бельевые стопки, — колдуй, серенький медведь...» — шептала, оглядывая перед сном свой беличий, припасливый мирок. И хоть ведуний или, упаси бог, знахарок среди покорных судьбе материных родичей не водилось, своим шепотом и мелкой ежедневной суетой сплела она чудную, никому не видимую сеть — колдовскую, не иначе.

Сначала, конечно, было неловко — дочь вплыла в жизнь совсем невесомой человеческой пылинкой; мать часами сидела рядом со спящим ребенком и думала, что даже хрупкое имечко — Катюша — кажется грубым и очень уж большим для этих пальчиков и ушек. Приходилось придумывать крохотные словечки — нетяжелые, летучие; стеречься сквозняков — чтоб не унесли; опасаться даже лунного света — не по себе становилось матери, когда искривленное неведомой бедой лунное лицо рассматривало детскую кроватку сквозь оконное стекло.

Но мать колдовала и за бабу, и за деда, и даже за серого медведя — пальчики выростали в пальцы, ушки становились ушами; кипело молоко, лилась вода, и колдовская сеть, бывшая поначалу не крепче марли, держала все плотней. Продольные нити обычных дней переплетались с поперечными нитками выходных; вокругую же мать укладывала свои, секретные, почти паутинные волокна: щепотку сухой ромашки в чай, букву К, вышитую на изнанке платица, кубик сахара под подушку — для сладкого, сверкающего чистотою сна.

Укрепляло колдовскую сеть и материно пристрастие к шторкам, полкам, шкафам и скатертям — да потемнее, потяжелее, — превратившим две комнаты, кухню и кладовку в мудреный лабиринт с тайниками и убежищами. Доросшая наконец до своего имени Катюша укладывала в картонные коробочки мелкие монеты, бусинки, цветные стекляшки из калейдоскопа; оборачивала сухо пахнувшей шоколадом фольгой бруски пластилина — получались слитки золота и серебра; а потом рассовывала свои сокровища по углам. Чтоб не забыть, где упрятан клад, Катя рисовала карты — сначала простые схемы с пунктирами указателей и жирным косым крестом посерединке, а после, наловчившись, — сложные, собранные из нескольких листов, расчерченные хитро, кропотливо, с нарушением всех мыслимых законов пространства, размещающие на сорока пяти квадратных метрах цепочки голубых озер, горы в острых колпаках ледников, погибший тысячу лет назад сизый лес, шумные, опасные разбойничьи города.

И пока где-то взлетали самолеты, разбегались поезда, а тысячи, мил-

лионы людей, навьючив на себя рюкзаки, стремились в неведомое, мать с Катей укоренялись в своем доме и друг в друге бессловесной, слепой, нутряной любовью, врастающей в душу, тело и жилую площадь нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Плакали вместе над утренней овсянкой и вместе же ее съедали, щедро сдобрив вареньем; выбегали в стылую предрасветную темноту; терпели ежедневное наказание разлукой и отовсюду скорее-скорее бежали друг к другу, потому что мир — на своем месте, только если все свои дома, и время тогда льется так гладко, что незаметно ни старости, ни взросления...

Как же нравилось матери все, что пело и плыло рядом! Даже мимо галдающих на скамейках подростков мать всегда проходила с улыбкой: веселили и рваные брюки, и разноцветные рожки на футболках, и трогательные лодыжки, голые до самых холодов. Не смущал ее неумелый, нарочитый матерок, а на выкрашенных девчачьих волосах она с удовольствием узнавала знакомую цветовую основу: ну вот этот нежно-русалочий — это ж разбавленная зеленка, а розовый — ведь точь-в-точь слабый раствор марганцовки! Пестрые стайки, взрывающиеся хохотом или сосредоточенно утыкающиеся в телефонные экраны, бьющие светом и прыгучей, легонькой музыкой; одиночки, укрывающие лица глубокими капюшонами толстовок; пухленькие изгойки с газировкой и булочкой в обнимку; плохо одетые бедняжки; пышные, созревшие уже красотишки и меленькие, не подошедшие еще к цветению полудети; не справляющиеся с собственными руками и ногами мальчишки, похожие на невесту кем управляемые ниточные куклы, — все они казались матери одинаковыми: милыми и чужими.

«Пусть, — говорила она, — пусть режутся, пока молоденькие», — и от собственной снисходительности чувствовала себя очень доброй, ни на секунду, правда, не допуская мысли, что зеленоволосой или голоногой может стать ее Катюша.

Конечно, мать знала, что есть где-то несчастные, злые дети, живущие в нелюбви и оттого творящие страшное, — но их беды казались ей чем-то вроде дурного фильма — не хочется, так не смотри; а если кто-то включил такое кино рядом с тобой — прищурь глаза, прикрой уши и гляди только на хорошее. И сама бы себе мать никогда не призналась, что ее улыбка и доброта к чужим людям были равнодушием, счастливым и намеренным неведением человека, живущего на вечно солнечной стороне улицы.

* * *

Ранней осенью, когда город оправлялся после оглушительно жаркого лета — не было такого почти полвека, — Кате исполнилось четырнадцать. Хороший возраст, пушистый — так думала мать, подбирая рецепты для праздника: что там, изобретать ничего особенного не будем, курочка, пара салатиков, колбаска-сыр.

К шести пришли подружки — Катюша сошлась с ними давненько, в раннем детстве, и держались они в доме запросто. Светка, в очках и тонковатых косах, — мать помнила, как малышкой она все просила водички и могла выдуть два стакана зараз, — и Вика — бедняжка, очень уж прикус неправильный и оттого совсем мышинное личико.

Подперев щеку кулаком, мать глядела на сидящих за столом девчонок и радовалась — вот хорошо как, господи, хорошо-то как, мирно.

— Кушайте, кушайте, мои хорошие, потом и тортик будет. Ну вот, Катюш, — сказала она дочери, привычно порадовавшись ее ладному личику, — какая ты взрослая стала.

Вспомнив собственные четырнадцать, мать взгрустнула.

— Мы совсем не так жили, совсем не так. А вам все открыто — хочешь туда, хочешь сюда! Вот ты, Света, — с жалостью спросила она, — кем хочешь стать?

Света пожала плечами, а Викуся захихикала: ходила меж подружками злая шутка, что тяжело, со страшным напряжением всех сил учившаяся Светка плюнет и станет, в конце концов, парикмахером.

— Вот и Катюша еще не решила, — посетовала мать. — А ведь ей куда угодно можно! Вот я иногда сижу и думаю: пройдет лет десять, и останусь я совсем одна. Катюша в институт поступит, потом работать пойдет, да глядишь, еще и в столицы унесет ее. А что, девочка умная, с руками-ногами оторвут, а она ведь еще и сама так ничего. — Мать покосилась на тонкие Светкины косы и вздохнула. — А там и замуж... А вдруг муж иностранец попадется? И уплывет моя Катюша за моря-океаны, там, говорят, добра побольше водится... А я тут буду... Я уж свое отплавала.

На самом деле мать даже представить себе не могла, что Катя может уехать учиться или выйти замуж — все это было далеко и невозможно. В материных мыслях путались и никак не складывались две картинки: в одной Катя, взрослая и решительная, покоряла мир; а в другой — никогда от мамы далеко не уходила — ну, может быть, будет какая-то там работа, детки, чтобы рядышком все были, а лучше в одной квартире... О внуках мать думала с охотой, но мужчина, который заберет Катю, начнет с Катей жить и даже спать, казался невысказанным и ненужным. Однако разговоры о непрременной разлуке и Катином будущем где-то вдали от себя мать с некоторых пор считала обязательными и заводила частенько — так нужно было, по ее представлению, *воспитывать*, и к тому же нравилось ей сладкое и тоскливое чувство, возникающее в груди при мысли о том, что нынешнее счастье когда-нибудь кончится, но ведь не скоро, не сейчас!

Девочки молчали и переглядывались. «Мешаю... — догадалась мать и встала. — Поболтать хотят. Может, господи прости, уже и мальчиков обсуждают...»

— Пойду я к себе, а вы тут уж празднуйте. Гулять-то потом пойдете? Катюш, начнет темнеть — сразу домой...

Ночью шел дождь, и оттого утро выдалось совсем прохладным. Нужно было доставать плащи и туфли — это простое дело всегда заставляло мать врасплох, и она сокрушалась, что никак не может угадать погоду хотя бы за несколько дней, чтоб все сделать по уму: проветрить, погладить, встряхнуть. За суетой она не сразу сообразила, что Катя сегодня скучна и неразговорчива; обязательную овсянку одолела, но вот любимое печенье оставила на блюде.

— Ты как себя чувствуешь? — Мать приложила ладонь к дочкиному лбу. — Горячевата что-то... Ну-ка, горло покажи. Не видать ничего... Это Викуся твоя заразу притащила, я вчера так и подумала, она носом шмыгала тайком. Дома оставайся. Я тебе попить сделаю морса. Температуру измерь и мне позвони потом. Контрольных нет нынче?..

Катя помотала головой и улеглась на диван, поджав ноги. Мать накрыла ее пледом и быстро перебрала в памяти содержимое своего внушительного аптечного шкафчика: календула-ромашка есть, аспирин, вита-

минки, леденцы от горла, а вот брызгалку в нос надо купить. Ну и отпроситься с работы после обеда, нырнуть в овощной, в аптеку — и домой. Катины болячки мать всегда бодрили — врачю дочку, она чувствовала себя нужной, ловкой и немножко всесильной.

Спустившись по лестнице, открыв подъездную дверь и, как обычно, на секунду зажмурившись от утреннего солнца (она болезненно переносила резкие переходы от темноты к свету), мать продолжала соображать, как бы побыстрее справиться с недугом: компот сварить из вишни; если горло совсем разболится, то сухой горчички в носки, а потом еще можно меду...

Катино лицо — четкое, черно-белое и оттого словно бы постаревшее — хлестнуло мать по еще слезящимся от солнечного света глазам так неожиданно, что она снова зажмурилась и остановилась. «Показалось-показалось-показалось...» — выколачивало сердце, и мать открыла глаза осторожно и медленно. Но сомнений не было — на белом бумажном листке, наклеенном прямо на морщинистый ствол тополя, чернели толстые буквы «**ТЕБЕ КОНЕЦ**», а под ними, перечеркнутая двумя диагоналями липкой ленты, была дочка, ее густая челка и темные, широкие, как мягкой кистью нарисованные брови. Эту фотографию они сделали всего неделю назад, а потом мать собственноручно, хоть и неуверенно, ткнула на маленькое сердечко на Катиной интернет-страничке, отчего сердечко из бесцветного стало ярко-красным. Мать оглянулась — еще один белый листок с Катюшиным лицом трепетал уголком на невысокой доске объявлений; дочкины глаза глядели с фонарного столба и спинок пустых скамеек — **ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ, ТЕБЕ КОНЕЦ...** Матери захотелось позвать на помощь, и она даже зашевелила губами, пытаясь кричать, но голова кружилась, и асфальт под ногами стал мягким, как песок. Двор был пуст, и только слышалось, как на дороге за домом разгоняются и тормозят злые, невыспавшиеся автомобили. И тогда мать кинулась к тополю, сгребла листок всей пятерней, охнув от крошащейся и вонзившейся под ногти коры, метнулась к фонарю и скамейкам, не замечая ни грязи, налипшей на туфли, ни зябкой дождевой пыли, посыпавшейся с неба быстро и легко. Смяв листы в один комок, мать швырнула их в мусорную урну, но потом вдруг передумала и вынула обратно. Сунула потемневшую от дождя бумагу в сумку и, чуть пошатываясь, пошла на остановку.

3

«Ни минуты не посидит спокойно, вот ведь белка какая... — Мать разглядывала школьную директрису с неодобрением. — Начапурилась вся, гляди-ка, нарядная, как в ресторан собралась...»

Директриса прыгала от беспрестанно звонящего телефона до набитого картонными папками шкафчика, и видно было, что этим утром не радуется ее ни отлично покрашенные волосы, ни собственная должность, ни хорошее шелковое платье, ни уж тем более ранний визит очередной, наверняка полусумасшедшей родительницы.

— Прокуратура звонила, прокуратура, я тебе говорю, просят штатное расписание им отправить, ищи, у тебя где-то было! — кричала она в телефонную трубку, а потом кидалась в полутемный коридорчик у кабинета: там, в окружении сломанных стульев, хмурился суровый сейф.

«И не устает ведь на таких каблуках. Красиво, конечно, но как уж хлопотно...» — Матери было чуть неловко от своей грузности и тяжелых

сапог и очень хотелось пойти домой, а еще лучше — вернуться на две недели назад, чтоб не знать ничего и не помнить, как ругалась на нее в полиции инспекторша, не пожелавшая даже в руки взять злосчастные листки с Катюшиной фотографией. «У меня тут два пацана на вокзале под поездом, один мертвый, другой без ноги, а еще изъятие сегодня у наркоманки — голодом младенца держит, а вы тут ходите! — От этих слов мать перестала плакать и попятилась к двери. — Балуется кто-то, может, подружка ревнует! На улицу не пускайте вечером, про контрацепцию и ЗППП расскажите!» — Тут уж мать замахала руками и убежала, слыша вслед: «После школы нюхайте, нет ли перегара, зрочки наблюдайте и зайдите, если что, через месяц!»

Не хотелось матери помнить и другое — как в отчаянии набрала она домашний номер Катиного отца, четырнадцать лет хранившийся в записной книжке, и, сгорая от стыда — чисто кипятка глотнула, ей-богу, — пыталась напомнить чужому голосу о давнем знакомстве. И он вспомнил, хмыкнул презрительно, а после велел не звонить и ни на что не рассчитывать.

Но хуже всего было другое: неведомое матери ощущение предательства и несправедливости — от целого мира, бывшего еще недавно приветливым и светлым. «Почему мы? Отчего?» — гадала мать и все пыталась понять, кому так сильно могла не понравиться Катюша — это же уму непостижимо, надо ведь распечатать, да еще и расклеить, не бояться. Матери настолько не верилось в происходящее, что, случись оно с кем-то другим, а не с ней, посоветовала бы скорее сходить к врачу и проверить зрение — вдруг померещилось? Никак не получалось у нее даже представить себе внешность злодея (или злодеев?) — не было в голове мало-мальски подходящего образа, и оттого все рисовались ей какие-то киношные преступники в окладистых бородах, черных очках и перчатках...

Хлопотунья-директриса наконец угомонилась, плюхнулась в скрипнувшее кожей кресло и, с подозрением поглядывая на умолкнувший телефон, спросила:

— Ну, что там у вас? Восьмой «Б»? Печенкина?

Мать, всегда любившая забавное звучание своей фамилии, устыдилась и ее. «Что ж это со мной, сама себе как неродная», — мельком подумала она, вытащила из сумки потрепанный на сгибе листок и развернула его перед директрисой.

— Вот что. Уже третий раз собираю. Первый раз во дворе расклеили, я чуть с инфарктом не свалилась, пока с дерева соскребала и с лавок. Потом прямо под дверью квартиры разбросали, а потом просто перед подъездом по газону, мне даже дворничиха наша приносила и любопытничала, что это такое творится и почему мы мусорим. А это ж разве мы? Как бы я мусорила собственной дочкой, а, я вас спрашиваю? — Возмущенная дворницкими нападками мать задрожала голосом и щеками. — Не реви уже, не реви, господи, как вынести это все, — бормотала она сама себе, не замечая, что говорит вслух.

Директриса отвела от матери глаза и вздохнула, уже сожалея, что никто не звонит.

— Катерина — девочка хорошая, учится ровно. Ни с кем не ссорится. Учителя ее любят. В классе, насколько мне известно, у нее проблем нет. Я, честно говоря, не знаю, чем вам тут поможет школа. Если только полиция...

— Да была я, была! — зарыдала мать. — Эта... инспекторша... си-

дит... младенцы там у нее с голodu удирают! А нам-то что теперь, терпеть это все? — Мать голосила, уже не сдерживаясь. — Перегар, говорит, понюхайте, зрочки еще приплела! Да Катя даже шампанского не пробова- ла, а она про эту, прости господи, контрацепцию мне кричала да на весь коридор, позор какой-то!

Директриса хмыкнула, но промолчала.

— Я ведь не знаю, куда мне побежать! — Мать вытерла глаза и шлеп- нула листком по директрисиному столу. — Вы мне скажите, вы же здесь главная по детям, что мне делать? Пока я даже в школу отпустить ее не могу, а ведь экзамены на носу!

— Хорошо, хорошо, вы только успокойтесь, не стоит нервничать. Да- вайте сделаем так. Я сама позвоню в полицию от имени школы и спро- шу, что можно сделать. И вам потом перезвоню, договорились? — Теле- фон ожил, и обрадованная его воскрешением директриса состроила изви- няющееся лицо, мол, сами видите, ни секунды покоя. — Я перезвоню, — прошептала она матери, схватив трубку и прикрыв ладонью нижний ее раструб. — Прокуратура? Да, слушаю вас, слушаю!

Мать поднялась со стула тяжело и неохотно — в теплом кабинете она пригрелась и размякла. Нужно было идти дальше, идти непонятно куда и что-то решать — ясно было, что эта тонконогая вертушка ничем помочь Катише не сможет.

Директриса дождалась, когда за неприятной гостьей закроется дверь, и скомкала бумажку Печенкину в плотный шарик. Хорошая девочка, с экзаменами надо будет помочь. А бумажками наверняка мальчишка ба- луется, влюбился. Не надо никуда звонить, замучают потом проверка- ми. А если вдруг спросят, почему не звонила, то можно сказать, что не дозвонилась — этому всегда верят, потому что дозвониться и вправду ни- как нельзя.

* * *

Солнечная сторона улицы обернулась тенью — не осталось сил ни на добродушие, ни на снисходительность. Мать стала раздражительной и пугливой. Дома, конечно, держалась — бодрилась и хорохорилась, но, выходя за порог, чувствовала себя шпионом в чужом мире. Ни обычаев, ни языка этого мира мать не знала, и трудно ей было справляться с обы- денностью в такой темной, незнакомой оправе. Самое простое, доставля- ющее раньше такую радость — вроде прогулок по шумному утреннему рынку, — теперь казалось пыткой.

Раньше мать павою плыла меж разноцветных прилавков: тут помидор- ные мячики, здесь влажная зелень, а там, гляди-ка, серебрятся тугие ры- бьи тельца и кивает знакомый продавец — иди сюда, припас тебе лучшие на этой земле семгины головы. Теперь же лимонные солнца потускнели, картошка шла сплошь гнилье, а рыночные тетки огрызались, так и норо- ва обвесить. Мать толкали в очередях, хлопали перед ее носом дверями, отдавливали в автобусах ноги, и жить ей стало словно бы тесно. Она и сама чувствовала, что даже глядит по-другому — виновато, с готовностью к оби- де, со страхом, — а такого чужой мир, видимо, простить никак не мог.

Сменила тональность и музыка подростковых стоек. Не слышалось в ней ни веселого щелбета, ни легкости — сыпалось из детских телефонов что- то тяжко-ритмичное, то басовитое, то визгливое; идущие навстречу одиноч- ки смотрели с вызовом; парочки не уступали узкой дорожки, и мать, сту-

пив одной ногой на газон и поставив на другую тяжелый пакет с яблоками, терпеливо ждала, пока минуют ее — неторопливо, вразвалочку. А как-то вечером совсем юная девчушка со злым лицом и словно бы замороженными, выкрашенными алым губами прошла мимо, вдруг выругалась и швырнула матери в лицо что-то легкое, холодно-влажное, вроде мокрой салфетки. Мать от испуга и омерзения сделала вид, что ничего не произошло, и даже не оглянулась, шла, как идетя, неспешно и вроде как непринужденно, а дома терла лоб и щеки с мылом до скрипа и красноты.

Дома было легче. Запрешь двери, вытрешь пыльную обувь, сдвинешь поплотнее шторы — и можно жить. Дома можно попытаться забыть потерявшие натяжение нити колдовской сети, увязать их в прочное полотно — привычными делами и заботами, бульканием кипятка, шкворчанием масла и особенной вечерней тишиной, наступающей после того как выключены кухонная плита и телевизор. И если бы знать, что утро не наступит, а вот так и будет всегда — сумеречно, тепло, сытно, — если бы можно было остаться здесь не ведающим бед жуком в прочном янтаре...

Чуть проще было и оттого, что Катя все знала: листки у квартирной двери она нашла сама, и после этого мать с облегчением запретила дочери выходить из дому, не признаваясь себе, что разделенная ноша ее страха немного потеряла тяжесть. Катя, как ни странно, совсем не испугалась, а в ответ на материньи вопросы только пожимала плечами — ни с кем не ссорилась, никого не обижала, и что ты, мам, какие мальчишки! Листала учебники, уютно шебуршала плотно исписанными тетрадками, почти не включала компьютер и охотно хлопотала по дому, пока мать была на работе. И только после дворничихиных криков и слышанного всем подъездом безобразного скандала пришла ночью к матери и спросила, можно ли ей немножечко полежать рядом? Мать разрешила, и с тех пор Катя больше у себя не спала и посапывала по ночам у матери под боком совершенно так же, как четыренадцать лет назад.

Приходили в гости Вкуся со Светкой, глядевшие на Катю с восхищением: надо же, как в страшном кино снимается и не боится совсем! Но потом Вкуся разболтала про листки своей маме, и девочкам навещать подружку запретили — вроде и глупости творятся, но держаться лучше подальше, пусть пока там сами разберутся, что к чему.

О том, что может случиться дальше и что нужно сделать, чтобы все это закончилось, мать с Катей не разговаривали. Меж ними вообще не было обычая жаловаться друг другу или просить поддержки; отчего-то любые серьезные чувства — чужие или свои — вызывали у них неловкость, и обсуждали они только самое простое вроде погоды, одежды или начинки для пирога. И теперь Катя ничего не спрашивала у матери, частенько приходившей домой с заплаканными глазами, и мать Кате ничего не говорила, когда увидела, что детские ее карты сокровищ сняты с антресольных высот и обрастают новыми морями и странами. Пусть отвлечется ребенок, что тут такого.

Но остаться запертыми насовсем никак не получалось. Назойливый и такой недобрый теперь мир сочился сквозь закрытые двери и окна: новостями, случайно услышанными соседскими пересудами, счетами за квартиру, снегом, сменившим дожди, звонками из школы и вежливым недоумением чужих — ну сейчас-то, мол, все тихо, никто больше ничего не подкидывает? Чего ж взаперти-то сидеть второй месяц? Эх, думала мать, поглядела бы я на вас, что бы вы на моем месте запели, как бы заплясали и куда бы побежали...

Две стены маминой спальни выходят на улицу, осенью и зимой в ней всегда прохладней, чем в других комнатах, и, если надеть теплые носки, можно играть в Арктику. Мамина кровать застелена белым лохматым покрывалом, и маленькая Катя укладывала под него подушки так, чтобы получались снежные холмы. Синий платок становился ледяным озером без рыб и водорослей — только айсберги, только густеющая на морозе вода. Между холмами прятались медведи и арктические лисы, фонарный свет за окном переливался северным сиянием, и хозяйничала в Арктике бесконечная, тихая полярная ночь.

В школе Катя часто думает про мамину комнату, и если становится немого, то представляет себе, что она снова маленькая, лежит в Арктике на снегу и рисует карты полярных земель. На них звери, ледяные пещеры и горы, и нет ни одного человека, потому что обычный человек жить там не сможет. Маленькая Катя считала, что Арктика населена снеговиками, отправляющимися за полярный круг после таяния-смерти, а теперь она точно знает, что нет там ничего необычного, а только пустыня изо льда и снега. Но вспоминать про полярное королевство Кате все равно приятно, прохладно и *отвлекательно*, потому что глядеть на всех, кто суется рядом, ей совсем не хочется.

Правда, жить с закрытыми глазами никак нельзя, а людей рядом с каждым годом становится все больше и больше, они подходят все ближе и сжимают Катю в кольцо *непременного будущего*. И почему-то выходит, что жить прямо сейчас никак нельзя, потому что все время нужно делать что-то для следующего дня, недели, месяца, года. «Вы должны стать настоящими, успешными людьми! Я желаю вам счастья и только пятерок!» — кричит на линейке 1 сентября школьная директриса, а потом отходит в сторонку и нервно постукивает острым каблуком по полу. Все в школе знают, что у нее муж и любовник и что каждое лето она уезжает с любовником в Испанию, а муж остается дома с двумя детьми, пятилетними близнецами — тоненькими, светловолосыми, похожими на мать. Это и есть настоящее, успешное — на пятерку? Или вот биологичка — замурзанная, пухленькая, терпеливая, в несменяемой водолазке цвета свеклы и тугих брючках. Водолазка обтягивает ее спину и живот, а лифчик она носит слишком тесный и оттого становится похожа на гусеницу в ровных, странно симметричных складках. Еще есть историк, единственный в школе учитель-мужчина, — страшно высокий и худющий. Как, должно быть, ему неловко в учительской, где одни женщины и всегда пахнет парикмахерской, потому что и кривоногая химичка, и старенькая русичка с просвечивающей сквозь кудряшки лысинкой, и грубая, крикливая англичанка на каждой переменке толкуются у зеркала и брызжут на себя лаком для волос.

Ладно, учитель — он будто бы и не совсем человек, а что-то вроде папичанной цифрами и буквами машины. А остальные взрослые — соседи, прохожие, бегущие навстречу или прочь с таким странным выражением, словно лицо у них сводит к носу? Сами торопятся и всех кругом торопят, подгоняют, только и слышно: «Не толпитесь! Проходите поскорей! Нет времени! Женщина, вы всех задерживаете!» Все они безнадежны и совсем дураки, потому что торопятся они к собственному концу — ну а куда ж еще?

Кате повезло. В школе она ни среди последних, ни среди первых, а

где-то так, посерединке. Ноги ровные, волосы хорошие, прыщами не обсыпает, не толстеет. Одевалась бы чуть получше и была бы повеселей — приняли бы в красавицы. Но Катя в красавицы не шла — очень уж надо стараться, чтобы из них потом не выпасть: каждый день выдумывать, что надеть, как накрасить глаза, как причесаться. Вообще девочкам очень страшно быть толстой — не пожалеют. Или если очень некрасивой быть, или странной, или — это больше для мальчишек — быть маленького роста: все, не выберешься, считай, на всю жизнь пропал. С отверженными даже общаться нельзя, всем известно, что это заразно: ты только посидишь с ними рядом — и сам сразу испортишься.

Кате не очень хочется играть в эти игры, но ей даже невозможно представить себя на месте школьных толстух, или всеми презираемого мальчика-альбиноса, или той девочки из параллельного, с крохотными глазами и совсем без ресниц, — ужас!

Катя знает, что ее ровесники обычных, копошащихся рядом взрослых за настоящих людей не считают, а просто ждут — совсем немного времени пройдет, можно будет выйти из-под унижительной власти и жить уже *нормально*. Правда, никто не представляет, что такое — нормально, но уж точно не так, как здесь, не так, как сейчас, не так, как все. Дайте только вырасти, вырваться, и уж мы-то никогда не будем — как вы, мы-то покажем, как надо, а вы ничего, совершенно ничего не понимаете и только все портите!

Но никто, никто из глупых Катиных одноклассников и не догадывается, что все дети, от зареванных первоклашек до развязных выпускников, с самого рождения хранятся в документах — в школе, поликлинике, паспортном столе. Наверняка, если хорошенько порыться, можно найти записанным не только детское прошлое — кори, ветрянки, оценки, — но и будущее, и уж точно нет в нем никакого избавления от нынешнего унижения и чужих правил. Где-то в этих бумажках есть Катя — и никак не изменить то, что для нее уже напридумывали. А ведь ей-то ничего этого не хочется. Ни любовников, ни мужей, ни детей, ни скучной, бессмысленной учебы, ни складок на животе, ни ежедневного галопа по городским улицам, автобусам и магазинам. А хочется только лежать на лохматом покрывале и вести по бумаге тонкий пунктир от чистого ледяного озера до крутого снежного склона: под ним в тайной пещере спрятан клад, собранный не людьми, а мертвыми снеговиками.

* * *

Это, конечно, удивляет, но в гонке безнадежных взрослых не участвует только Катина мама. Раздражает в ней много чего: глупо сидящие мешковатые платья, какие-то дремучие рецепты лечения простуд (чего только стоит кипящий картофель, помогающий, видите ли, своим паром от насморка), медлительность, привычка болтать с каждым продавцом и печь блины на ночь глядя, а еще эта манера выйти из подъезда, посмотреть на солнце и зажмуриться. Стоит, слезы из глаз бегут, а она улыбается и объясняет: «Сейчас пройдет. Это, доченька, куриная слепота. У бабушки твоей такая же была...»

Но вот странное дело — мир вокруг мамы успокаивается и замедляется. Она будто ловит его в свои сети, приручает, умиряет, отводит куда-то в сторону, подальше от Кати... Какое такое *непременное будущее*, если мы еще чаю не пили? Пусть подождет. А мы пока неспешно пройдем от

теплой постели до кухонного окна, на секунду впуская в дом свежий утренний ветер, радостно продрогнем, захлопнем окно и халат запахнем поплотнее. Некуда, незачем, не к кому нам торопиться, и нет ничего интереснее нас самих, нас — здесь и сейчас.

И оттого мамино предательство стало для Кати полной неожиданностью — неужели это она, мама, хлопочущая над каждой Катиной вещичкой, пугающаяся каждого ее насморка, готова поступить со своей дочерью так жестоко?

Катя даже день запомнила: случилось это в прошлом году, третьего октября. Мама тогда явилась с родительского собрания, выбралась из тесноватого, *на выход*, плаща и со слегка растерянной улыбкой сказала Кате, что, мол, вот, доченька, мне сегодня объяснили на собрании, что время пришло. Катя удивилась — что такое, для чего время-то? А мама ей — р-раз! — и выдала, что взрослеть пора, велели всем ученикам со своим будущим определяться. Ты, говорит, доченька, уже определилась? И потом захохла что-то совсем несурзкое: вылетишь ты скоро, девочка моя, из мамино гнезда, полетишь учиться, работать начнешь, а потом и замуж выйдешь, детки у тебя свои появятся, будешь их любить, а мамочку уж побоку... Мамочка уже и не нужна будет... Ну а как ты хотела? Никто еще под маминым крылом на всю жизнь не оставался, а уж ты тем более не удержишься, такая ты уж у меня умница, такая красавица... Захочешь, так хоть юристом станешь, хоть ювелиром. Или бухгалтер — вот до чего полезная профессия, твоя Викуся локти потом кусать будет, а ты всегда будешь при деле и при рубле! А захочешь, так и на иностранные языки можно пойти, вон французский — до чего ж красивый язык, а ты маленькая была — как раз картавила.

Кудахтала и улыбалась так, словно со слабоумной разговаривает. Какой бухгалтер? Какой ювелир? Какие Викусины локти? Катя тогда ничего маме не ответила, да и что тут скажешь-то? Не хочу? Не буду? Я лучше несуществующую Арктику порисую?

Сначала Катя думала, что это все у мамы пройдет, но оно стало только хуже. И каждый день мама придумывала что-нибудь противное, словно сама себя переплунуть хотела. Что там бухгалтер... Дело даже до стоматолога дошло! А что? В белом халате, все уважают и даже немного побаиваются! И если вдруг муж попадется *не очень хороший*, всегда и его, и деток прокормишь и медицинской помощью обеспечишь, потому что врачи — они все заодно и друг другу помогают: обследования там, кодирования... И что самое обидное — при всем при этом вкус к собственному, спрятанному от дурацких гонок существованию мама не потеряла. По-прежнему варила по утрам кашу, уходила на работу, а потом возвращалась — с туго набитыми пакетами, — азартно натирала полы, обхаживала толстокожие фикусы, радовалась сметане (наисвежайшая!) или болгарскому перцу (сочный, аж брызжет!) и о Кате продолжала заботиться так же, как и всегда. Но как теперь было верить этой заботе...

Так и исчезло Катино убежище — даже в маме, даже дома не было больше защиты, и *непременное будущее*, дразнясь, выскакивало то тут, то там. Викуся со Светкой тоже на своих мам жаловались, что как с ума они походили с этим поступлением и экзаменами, но Светку мама с детства била — по губам, если не то скажет, и по заднице, если не то сделает, и Светке самой хотелось из дому поскорей сбежать хоть куда, а у Викуси родной дядька в архитектурном где-то в Москве, ей там с самого рождения место было приготовлено, она и не возражала.

Катя промучилась почти год, страшно злилась на всех вокруг: и на подружек — за то, что все уже решили и не страдают; и на маму, без усталости выдумывающую замысловатое дочкино завтра; и на себя — за то, что никак не могла, как все, смириться и жить уже наконец-то в правильную сторону. Мучилась, мучилась, а потом взяла и распечатала целой стопкой свою фотографию — ту, где брови хорошо вышли. Слова «**ТЕБЕ КОНЕЦ**» под собственным лицом отчего-то странно бодрили, а в животе от них становилось так, будто едешь с высокой горки.

5

— Глянь, белые какие плетутся. Не местные, сразу видать. Мы в детстве так дразнились: «Бледня бледней!» Да вон, разуй глаза, вон с вокзала вышли. А чемоданов-то! Еще одни приперлись, только их тут и не хватало. Сидят в своих северных задрищенках, а потом как ужалит их, к теплу захочется. Ну солнышко у нас яркое, да, тут не поспоришь, а больше чего ж особенного? Ехали бы куда-нить к морю, вон помнишь, мы с тобой как поженились, ездили в Туапсе? Чего там не жить? Чего молчишь-то? Будто не помнишь. Да не мычи, а отвечай нормально, если спрашиваю. Ой, гляди-ка, ругаются! Мать с дочкой, лица как пожожи, правда? Наглая девка-то. Распустили тебя, малая, я бы давно ремнем, если бы мои так выкобенивались. Чего там она орет? Сама все расклеила и раскидала? Потому что страшно было? Чего-чего она хотела? Ничего не пойму! Что ж такое, никак не разобрать отсюда. Давай поближе подойдем, вон на ту лавочку пересядем, послушаем, интересно же!

Смотри-ка, довела. Мать родная плачет стоит. Во семейка. Как не плачет? Смеется? Ты чего, дурак? Слезы-то ручьем, я ж вижу! А, и правда, улыбается. Гляди-ка, хохочет! Слушай, а вдруг они психические какие или бомбу несут? Давай-ка подальше от них, опасное дело. Пошли, пошли, чего пялишься, кинутся еще.

